

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Духовно-нравственные основы русской литературы (о научной школе профессора Ю.В. Лебедева)

В научной школе доктора филологических наук, профессора Юрия Владимировича Лебедева изучается духовно-нравственный потенциал русской классики, в зерне которого заключены тысячелетние традиции христианского мировосприятия. В этом направлении ведутся исследования сотрудников кафедры литературы КГУ им. Н.А. Некрасова, учеников Ю.В. Лебедева.

Созданный профессором Ю.В. Лебедевым цикл учебников, учебных и методических пособий по русской литературе для общеобразовательных учреждений и вузов получил заслуженное признание как учителей литературы, так и ведущих научных учреждений страны.

Ученые-литературоведы занимаются проблемами теории и истории русского романа, изучают традиции литературной классики в поэзии и прозе писателей Серебряного века, рассматривают духовно-нравственный потенциал и эстетическую природу русской классической литературы в контексте литературы стран Западной Европы.

Ю.В. Лебедев нередко говорит о чистоте и высоте идеалов, утверждаемых нашей литературной классикой: «...При изучении русской литературы нельзя отделять красоту от правды, а правду от добра. Эстетический уклон не отвечает самой сути нашего искусства слова, его целостной триединой природе». Основной подход к изучению литературных произведений, определенный Ю.В. Лебедевым, реализуется и его учениками-единомышленниками.

УДК 882.09

Лебедев Юрий Владимирович

*доктор филологических наук, профессор
Костромской государственной университет им. Н.А. Некрасова
y.v.lebedev@yandex.ru*

ХРИСТИАНСКИЕ ОСНОВЫ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В статье раскрываются духовные корни русской классической литературы, определившие её национальное своеобразие.

Ключевые слова: гуманизм эпохи Возрождения, христианский гуманизм, реализм в высшем смысле, любовь эгоистическая и любовь духовная, катафатическое богопознание, духовный прогресс.

1
Однажды между Короленко и Успенским, писателями-демократами из враждебного Достоевскому лагеря, состоялся характерный разговор. Короленко заметил, что «Преступление и наказание» он перечитывает с большим интересом. «А я не могу... – сказал Успенский. – Знаете ли... У меня особое ощущение... Иногда едешь в поезде... И задремлешь... И вдруг чувствуешь, что господин, сидевший против тебя... самый обыкновенный господин... даже с добрым лицом... И вдруг тянется к тебе рукой... и прямо... пррямо за горло хочет схватить... или что-то сделать над тобой... И не можешь никак двинуться».

Он говорил это так выразительно и так глядел своими большими глазами, что я, как бы под вну-

шением, сам почувствовал лёгкое веяние этого кошмара и должен был согласиться, что это описание очень близко к ощущению, которое испытываешь порой при чтении Достоевского.

“А всё-таки есть много правды”, – возразил я. – “Правды?..” Глеб Иванович задумался и потом, указывая двумя пальцами в тесное пространство между открытой дверью кабинета и стеной, – сказал: “Посмотрите вот сюда... Много ли тут за дверью уставится?” – “Конечно, немного”, – ответил я, ещё не понимая этого перехода мысли. – “Пара калош...” – “Пожалуй”. – “Положительно: пара калош. Ничего больше...”

И вдруг, повернувшись ко мне лицом и оживляясь, он докончил: “А он сюда столько набьёт... человеческого страдания, горя... подлости человечес-

кой... что прямо на четыре каменных дома хватит» [5, с. 17–18]. Этот упрёк был жёстко сформулирован в названии адресованной Достоевскому статьи Н. К. Михайловского: «Жестокий талант».

Д. С. Мережковский в книге «Л. Толстой и Достоевский» очень убедительно обозначил и не менее убедительно отвёл эти упрёки, которые можно услышать и в наше время: «И разве всё это естественно, возможно, *реально*, разве это бывает в действительной жизни? Где это видано? И если даже бывает, то какое дело нам, здравомыслящим людям, до этих редких из редких, исключительных из исключительных случаев, до этих нравственных и умственных чудовищностей, уродств и юродств, подобных видениям горячечного бреда?»

Вот главное, всем понятное обвинение против Достоевского – неестественность, необычность, искусственность, отсутствие так называемого “здорового реализма”.

“Меня зовут психологом, – говорит он сам, – неправда, я лишь *реалист в высшем смысле*, т. е. изображаю все глубины души человеческой”.

Естествоиспытатель, тоже иногда “в высшем смысле реалист” – реалист новой, ещё неизвестной, небывалой реальности, – делая научные опыты, окружает в своих машинах и приборах естественное явление природы искусственными, исключительными, редкими, необычными условиями и наблюдает, как, под влиянием этих условий, явление будет изменяться. Можно бы сказать, что сущность всякого научного опыта заключается именно в преднамеренной искусственности окружающих условий. Так, химик, увеличивая давление атмосфер до степени невозможной в условиях известной нам природы, постепенно сгущает воздух и доводит его от газообразного состояния до жидкого. Не кажется ли “нереальной”, неестественно, сверхъестественно, чудесно эта тёмно-голубая, как самое чистое небо, прозрачная жидкость, испаряющаяся, кипящая и холодная, холоднее льда, холоднее всего, что мы можем себе представить? Жидкого воздуха не бывает, по крайней мере, не бывает в доступной нашему исследованию, земной природе. Он казался нам чудом, – но вот он оказывается самую реальною научно действительностью. Его “не бывает”, но он есть.

Не делает ли чего-то подобного и Достоевский – “реалист в высшем смысле” – в своих опытах с душами человеческими? Он тоже ставит их в редкие, странные, исключительные, искусственные условия, и сам ещё не знает, ждёт и смотрит, что из этого выйдет, что с ними будет. Для того, чтобы непроявившиеся стороны, силы, сокрытые в “глубинах души человеческой”, обнаружились, ему необходима такая-то степень давления нравственных атмосфер, которая, в условиях *теперешней* “реальной” жизни, никогда или почти никогда не встречается – или разреженный, ледяной воздух отвлеченной

диалектики, или огонь стихийно-животной страсти, огонь белого каления. В этих опытах иногда получает он состояния души человеческой, столь же новые, кажущиеся невозможными, “неестественными”, сверхъестественными, как жидкость воздуха. Подобного состояния души не бывает; по крайней мере, в доступных нашему исследованию, культурно-исторических и бытовых условиях – не бывает; но оно может быть, потому что мир духовный так же, как вещественный, “полон, по выражению Леонардо да Винчи, неисчислимыми возможностями, которые ещё никогда не воплощались”. Этого не бывает, и, однако, это более, чем естественно, это *есть*» [7, с. 105–107].

Главное открытие, к которому пришёл Достоевский в художественном исследовании человека, заключалось в опровержении истин «гуманизма», утвердившихся в Западной Европе ещё в эпоху Возрождения. Суть такого гуманизма основывалась на вере в добрую природу человека, лишь искажённую в своей первозданности окружающими жизненными обстоятельствами. Отпусти человека на свободу – и добрые инстинкты его природы восторжествуют!

Достоевский в своих романах отпускает героев на полную свободу. Но эта свобода становится для них источником трагических испытаний и духовных мук. Достоевский доказал, что природа человека дисгармонична, что в ней идёт постоянная борьба тёмных и светлых начал, что поле битвы Бога и Дьявола – сердца людей. Светлые начала укрепляются и питаются верой в Бога, они бессильны без притока «космических», благодатных энергий, которым открывается доступ лишь в душу верующего человека. С утратой веры человек, предоставленный самому себе, оказывается пленником своих земных несовершенств. Проходя через искушение свободой, такой человек страдает от этих несовершенств и невольно выносятся к пограничной ситуации, на гребне которой ему открывается или трагическая перспектива безусловной гибели или выстраданная в страшных искушениях вера в безусловную правоту христианской истины. Достоевский любит страдание не из пристрастия к человеческим мучениям, а из любви к современному безбожному человеку, которому только через страдания и муки открывается божественный свет.

2

Один из героев Томаса Манна назвал русскую литературу «святой». Ни одна из литератур христианской Европы не поднималась на такую духовную высоту, какая оказалась доступной литературе русской. Художественная одарённость русского человека, конечно же, вырастает из коренных основ Православия. Он искренне верует в бессмертие души и в земной жизни видит лишь пролог к жизни вечной. Эта вера позволяет ему смотреть на жизнь бес-

корыстно и благоговейно. Она воспитывает в нём *дар созерцания*, являющийся основой эстетического восприятия. Русский человек воспринимает жизнь широко и полнокровно, так как он ничем узко-прагматическим и утилитарным в этом мире не связан.

Русское словесно-художественное творчество и национальное ощущение мира, за ним стоящее, уходят настолько глубоко своими корнями в религиозную стихию, что даже писатели, внешне порвавшие с религией, всё равно оказываются внутренне с нею связанными [см.: 1]. В своих религиозно-философских трактатах поздний Толстой, вступивший на путь беспощадной полемики с официальной церковью, отрицал божественное происхождение Иисуса Христа, сомневался в бессмертии человеческой души, произвольно извлекал из четырёх Евангелий лишь заповеди Спасителя, подвергая их весьма вольной трактовке. Фактически он сам отлучил себя от церкви, а Святейший Синод своим постановлением 1901 года лишь подтвердил уже состоявшийся факт.

Но Толстой-художник никогда не переставал любить жизнь высокой духовной любовью, никогда не подвергал сомнению красоту Божьего мира, видя в ней своё спасение. И когда он воспринимал мир глазами художника, влюблённого в жизнь, многие религиозные умствования отступали или подвергались невольному сомнению. Всю свою жизнь Толстой в художественных созданиях славословил Бога в Божьем творении. Это был признанный отцами церкви путь положительного или *катафатического* богопознания, утверждающего, что весь мир, всё существующее есть некий образ или изображение Божие: «Мы познаём Бога не из Его природы, которая непознаваема и превышает всякую мысль и разум, но из установленного Им порядка всех вещей, который содержит некие образы и подобию Божественных первообразов...» (Дионисий Ареопагит; 12, 104). Это созерцание в образах первообраза, изображённого в изображениях, *созерцание Бога в мире* станет характерной приметой творчества Толстого. Перед нами особый вид христианского пантеизма, далёкий от пантеизма языческого. «В христианском пантеизме, – отмечает А.Г. Гачева, – импульс просветления, обожения природы, когда воистину “будет Бог всё во всё” (1 Кор. 15:28)». Христианский пантеизм – «то состояние мироздания, которое будет в Царствии Небесном, и в образцах христианской пантеистической лирики явлено как бы предчувствие будущей “мировой гармонии”, взгляд с любовью обращен к животным, растениям, небу, стихиям дня и ночи, видит внутреннее родство всего сущего, сознает и собственную нерасторжимую связь с природой, которая в своих стихиях и тварях уже “не слепок, не бездушный лик”, но “В ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык” (Тютчев)» [2, с. 88].

В споре с князем Андреем в «Войне и мире» Пьер так опровергает безотрадный взгляд своего друга на себя и на жизнь вокруг: «Вы говорите, что не можете видеть царства добра и правды на земле. И я не видал его; и его нельзя видеть, ежели смотреть на нашу жизнь как на конец всего. На земле, именно на этой земле (Пьер указал в поле), нет правды – всё ложь и зло; но в мире, во всём мире есть царство правды, и мы теперь дети земли, а вечно – дети всего мира. Разве я не чувствую в своей душе, что я составляю часть этого огромного, гармонического целого? Разве я не чувствую, что я в этом бесчисленном количестве существ, в которых проявляется Божество, – Высшая сила, – как хотите, – что я составляю одно звено, одну ступень, от низших существ к высшим? Ежели я вижу, ясно вижу эту лестницу, которая ведёт от растения к человеку... отчего же я предположу, что эта лестница прерывается со мною, а не ведёт всё дальше и дальше до высших существ. Я чувствую, что я не только не могу исчезнуть, как ничто не исчезает в мире, но что я всегда буду и всегда был» [10, т. 5, с. 123].

Не религиозно-философские трактаты Толстого, а его художественное мироощущение в своём радостном жизнелюбии сближается с христианством. Вспомним, как в «Войне и мире» Толстой подводит князя Андрея к открытию религиозных ценностей жизни, которых он не понимал и к которым был всегда пренебрежителен. Смертельно раненный, он находит в себе радостную и неожиданную способность простить своего обидчика, узнав «в несчастном, рыдающем, обессилевшем человеке, которому только что отняли ногу», Анатоля Курагина. «Он вспомнил теперь ту связь, которая существовала между им и этим человеком, сквозь слёзы, наполнявшие распухшие глаза, мутно смотревшим на него. Князь Андрей вспомнил всё, и восторженная жалость и любовь к этому человеку наполнили его счастливое сердце.

Князь Андрей не мог удерживаться более и заплакал нежными, любовными слезами над людьми, над собой и над их и своими заблуждениями.

“Сострадание, любовь к братьям, к любящим, любовь к ненавидящим нас, любовь к врагам – да, та любовь, которую проповедовал Бог на земле, которой меня учила княжна Марья и которой я не понимал; вот отчего мне жалко было жизни, вот оно то, что ещё оставалось мне, ежели бы я был жив. Но теперь уже поздно. Я знаю это!”» [10, т. 6, с. 267].

В полубреду князь Андрей просит у доктора достать ему книгу. «Какую книгу?» – «Евангелие! У меня нет». «Он всё говорил о том, чтобы ему достали поскорее эту книгу и подложили бы её туда. – “И что это вам стоит! – говорил он. – У меня её нет, – достаньте, пожалуйста, подложите на минуточку”, – говорил он жалким голосом» [10, т. 6, с. 396–397].

В «Письме к Т.И. Филиппову» (1856) А.С. Хомяков так охарактеризовал два типа любви, присущие человеку: «Любовь, как требование притязательное и самолюбивое, любовь, ставящая цель в лице любящем, есть ещё не отрешившийся эгоизм»: другой человек признаётся в ней ещё «как средство наслаждения, а не как цель». «Истинная любовь имеет иное, высшее назначение. Предмет любимый уже не есть средство: он делается целью, и любящий уравнивает его с собою, если не ставит выше себя». Он «переносит на него свои собственные права, часть своей собственной жизни ради его, а не ради самого себя. Таково определение истинной, человеческой любви: она по необходимости заключает уже в себе понятие духовного самопожертвования» [13, с. 283–284].

Подчиняясь спасительному чувству духовной любви к Богу и людям, князь Андрей впервые осознал свою жестокость по отношению к Наташе: «“Любя человеческой любовью, можно от любви перейти к ненависти; но божеская любовь не может измениться. Ничто, ни смерть, ничто не может разрушить её. Она есть сущность души. А сколь многих людей я ненавидел в своей жизни. И из всех людей никого больше не любил я и не ненавидел, как её”. И он живо представил себе Наташу не так, как он представлял себе её прежде, с одною её прелестью, радостной для себя; но в первый раз представил себе её душу. И он понял её чувство, её страдания, стыд, раскаянье. Он теперь в первый раз понял всю жестокость своего отказа, видел жестокость своего разрыва с нею. “Ежели бы мне было возможно только ещё один раз увидеть её. Один раз, глядя в эти глаза, сказать...”» [10, т. 6, с. 399].

Но духовная любовь князю в руки не даётся. Как только Наташа появляется перед ним, пробуждается ревность к сопернику Анатолю. Князь Андрей чувствует, что не в силах простить его. Глубоко символично, что под Аустерлицем князю открылось отрешенное от жизни голубое *небо*, а под Бородином – близкая, но не дающаяся ему в руки *земля*, завистливый взгляд на неё. Земля, к которой он потянулся в роковую минуту, так и не далась ему в руки, уплыла, оставив в его душе чувство тревожного недоумения, неразгаданной тайны. Восторжествовало отрешенное от земной жизни *небо*, и вместе с ним наступила смерть. Князь Андрей умер не только от раны. Смерть вызвана особенностями его характера и положения в мире людей. Его поманили, позвали к себе, но ускользнули, оставшись недостижимыми, те духовные ценности, которые разбудил в русских людях 1812 год.

Повествование в «Войне и мире» идёт так, что описание последних дней князя Андрея переключается с жизнелюбивой сущностью духовной любви Платона Каратаева. Чувство связи со всеми, всепрощающую христианскую любовь Андрей испытывает лишь на мгновение, когда смертельно ра-

ненный он отрешается от жизни. И наоборот, едва лишь в нём пробуждается чувство любви к Наташе, втягивающее его в земную жизнь, как мгновенно исчезает у Андрея милосердие и прощение.

Каратаев, напротив, «любил и любовно жил со всем, с чем его сводила жизнь, и в особенности с человеком – не с известным каким-нибудь человеком, а с теми людьми, которые были у него перед глазами» [10, т. 7, с. 56]. И «жизнь его, как он сам смотрел на неё, не имела смысла как отдельная жизнь. Она имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал» [10, т. 7, с. 56]. Что-то приятное и успокоительное видит Пьер в его размеренных «круглых» движениях, в его обстоятельной крестьянской домовитости, в его умении свить себе гнездо при любых обстоятельствах жизни. Но главное, что покоряет Пьера, – это любовное отношение к миру: «“А много нужды увидели, барин? А?” – сказал вдруг маленький человек. И такое выражение ласки и простоты было в певучем голосе человека, что Пьер хотел отвечать, но у него задрожала челюсть, и он почувствовал слёзы» [10, т. 7, с. 50].

Исцеляющее влияние Каратаева на израненную душу Пьера скрыто в особом даре любви. Эта любовь без примеси эгоистического чувства, любовь христианская: «Э, соколик, не тужи, – сказал он с той нежно-певучей лаской, с которой говорят старые бабы. – Не тужи, дружок: час терпеть, а век жить!» [10, т. 7, с. 51]. Каратаев – символическое воплощение мирных, охранительных свойств коренного крестьянского характера, «непостижимое, круглое и вечное олицетворение духа простоты и правды» [10, т. 7, с. 56].

Примечательна легенда Каратаева о купце, безвинно пострадавшем и скончавшемся на каторге. Купец принимает незаслуженное по человеческим понятиям наказание с христианским смирением: «Стали старичка спрашивать: ты за что, мол, дедушка, страдаешь? Я, братцы мои миленькие, говорит, за свои да за людские грехи страдаю. А я ни душ не губил, ни чужого не брал, акромья что нищую братию оделял. Я, братцы мои миленькие, купец; и богатство большое имел. Так и так, говорит... Я, говорит, о себе не тужу. Меня, значит, Бог сыскал» [10, т. 7, с. 166].

Общение с Платоном Каратаевым приводит Пьера к более глубокому пониманию смысла жизни: «прежде разрушенный мир теперь с новой красотой, на каких-то новых и незыблемых основах, воздвигался в его душе» [10, т. 7, с. 54]. Пьеру открывается в плену тайна народной религиозности, основанной не на отречении от жизни, а на духовной любви к ней. «Жизнь есть всё. Жизнь есть Бог... И пока есть жизнь, есть наслаждение самосознания божества. Любить жизнь, любить Бога» [10, т. 7, с. 169]. Не сама легенда о безвинно страдающем купце, «но таинственный смысл её, та востор-

женная радость, которая сияла в лице Каратаева при этом рассказе, таинственное значение этой радости, это-то смутно и радостно наполняло теперь душу Пьера» [10, т. 7, с. 167].

И вот переживание последних минут жизни у князя Андрея и Каратаева. Умиравший князь чувствует полную отчуждённость от окружающих его людей. «В глубоком, не из себя, но в себя смотревшем взгляде была почти враждебность, когда он медленно оглянул сестру и Наташу. <...> В словах, в тоне его, в особенности во взгляде этом – холодном, почти враждебном взгляде – чувствовалась страшная для живого человека отчуждённость от всего мирского» [10, т. 7, с. 63]. Совершенно иное чувство переполняет умирающего Платона. «Каратаев в своей шинельке сидел, прислонившись к берёзе. В лице его, кроме выражения вчерашнего радостного умиления при рассказе о безвинном страдании купца, светилось ещё выражение тихой торжественности. Каратаев смотрел на Пьера своими добрыми, круглыми глазами, подёрнутыми теперь слезою, и, видимо, подзывал его к себе, хотел сказать что-то» [10, т. 7, с. 168].

3

Аллергическую реакцию у современных буржуа вызывает наша классическая литература. Случайно ли это? По-видимому, нет. Дело в том, что русская классическая литература нисколько не теряет своей злободневности в потоке исторического времени. Высокая литература России касается генетических корней национальной жизни и вечных проблем отечественной истории. В отличие от нынешних реформаторов она не верит в возможность обновления жизни путём перестроек и революций. Она утверждает, что всякое изменение жизни к лучшему надо начинать с преображения человека, с его духовного совершенствования.

Тургенев, Гончаров, Салтыков-Щедрин, Островский вместе с другими русскими классиками – решительные противники того понимания прогресса, которое утверждала нигилистическая молодёжь. Прогресс в науке, заявляла она, состоит в постоянно расширении круга познания, в открытии новых научных данных, ставящих под сомнение, а то и вообще отрицающих знания предыдущие. То же самое, полагала она, происходит и в духовно-нравственной сфере: молодое поколение вправе ставить под сомнение и отрицать те нравственные идеалы, которыми вдохновляются «отцы». Русская классическая литература в лице ведущих её представителей утверждала, напротив, что «человек у Бога вечный ученик» (Гоголь). В «Предисловии к роману “Обрыв”» И.А. Гончаров утверждал: «Мыслители говорят, что ни заповеди, ни Евангелие ничего нового не сказали и не говорят, тогда как наука прибавляет ежечасно новые истины. Но в нравственном развитии дело состоит не в открытии ново-

го, а в приближении каждого человека и всего человечества к тому идеалу совершенства, которого требует Евангелие, а это едва ли не труднее достижения знания. Если путь последнего неистощим и бесконечен, то и высота человеческого совершенства по Евангелию так же недостижима, хотя и не невозможна! Следовательно – и тот и другой пути параллельны и бесконечны! И то и другое одинаково трудно одолжимо» [4, с. 509. Курсив мой. – Ю.Л.].

Один из героев второго тома «Мёртвых душ», обращаясь к Чичикову, говорит: «Ей-ей, дело не в этом имуществе, из-за которого спорят и режут друг друга люди, точно как можно завести благоустройство в здешней жизни, не помывшись о другой жизни. Поверьте-с, Павел Иванович, что покамест, брося всё то, из-за чего грызут и едят друг друга на земле, не подумают о благоустройстве душевного имущества, не установится благоустройство и земного имущества. Наступят времена голода и бедности как во всём народе, так и порознь во всяком... Это-с ясно. Что ни говорите, ведь от души зависит тело... Подумайте не о мёртвых душах, а о своей живой душе, да и с Богом на другую дорогу!» [3, с. 396–397].

В том же томе генерал-губернатор, почувствовав бесплодность борьбы со взяточничеством юридическими и административными мерами, собирает всех чиновников губернского города и произносит такую речь: «Дело в том, что пришло нам спасать нашу землю; что гибнет уже земля наша не от нашествия двадцати иноплемennых языков, а от нас самих; что уже мимо законного управления, образовалось другое правление, гораздо сильнее всякого законного. Установились свои условия; всё оценено, и цены даже приведены во всеобщую известность. И никакой правитель, хотя бы он был мудрее всех законодателей и правителей, не в силах поправить зла, как ни ограничивай он в действиях дурных чиновников приставленьем в надзиратели других чиновников. Всё будет безуспешно, покуда не почувствовал из нас всяк, что он так же, как в эпоху восстания народ вооружался против врагов, так должен восстать против неправды» [3, с. 400–401].

Этот враг – нравственное разложение общества – ныне гораздо более силён, чем в гоголевские времена. Все видят, как в атмосфере духовного распада и потери совести становятся бессильными в современной России все юридические законы. Н.А. Некрасов писал: «Грош у новейших господ выше стыда и закона...» [8, с. 241]. Впрочем, ещё дедушка Крылов на полвека раньше Некрасова заявлял:

В ком есть и совесть и закон,
Тот не украдет, не обманет,
В какой бы нужде ни был он,
А вору дай хоть миллион –
Он воровать не перестанет [6, с. 99].

Известно, что литературное творчество искони оценивалось на Руси необычайно высоко. Поэзия воспринималась как «язык богов». Существовало трепетное отношение к личности поэта, для которого оставался неизменным принцип: «живи, как пишешь, и пиши, как живёшь». И даже советская власть, которая ещё не потеряла инстинкт самосохранения, помнила пушкинский завет:

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу [9, с. 49].

Сегодня эти заветы попираются. В небрежении остался не только школьный учитель литературы, не только вузовский учёный-преподаватель, но даже и отечественный писатель, брошенный властью на произвол судьбы. Голос его не слышен в средствах массовой информации. Ушли в прошлое знаменитые останкинские встречи. Общение с писателями вытеснили кулинарные «шоу» да «поля чудес». Ведётся неприкрытое наступление на уроки литературы в средней школе, которые искони были уроками высокой человечности.

В 70-х годах XIX века, когда Россия переживала трудные годы перехода на стезю буржуазного развития, умные люди поняли, что греховным началам человеческой природы, на которые опирается новый общественный порядок, для успешного, не катастрофического его функционирования нужна надёжная система духовных противовесов. Как птице для полёта даны два крыла, так и буржуазному обществу необходимо сильное духовное противостояние.

Миссию этого противостояния должна взять на себя средняя и высшая школа с циклом хорошо поставленных в ней гуманитарных предметов. В этой школе, по словам Глеба Успенского, нужно учить «строгости» к самому себе и к ближним вопреки той «правде дремучего леса», в которой народ вынужден жить. Эта школа призвана учить «необходимости в житейских отношениях нести

убыток – подавать нищим, убогим, жертвовать на храм». В народной школе, говорил Глеб Успенский, «всякий знает, что из рыданий псалмопевца “не сошьёшь шубы”». Тем не менее псалмы учат и наказывают за неумение выучить, «потому что видят нравственную необходимость глядеть на себя и на окружающих не с одной только точки зрения дремучего леса» [11, с. 172].

Нет никакого сомнения, что без надёжного крыла высокой духовности, которую призвана воспитывать на современном этапе нашего развития средняя и высшая школа, Россия, как птица, у которой на полном лету перебили крыло, обречена удариться о грешную землю и разбиться. Без мощного духовного просвещения капитализм дичает и начинает угрожать коренным устоям жизни общества.

Библиографический список

1. Бердяев Н. О характере русской религиозной мысли XIX века [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://knigo.com/p/philos/berdyaev/berdn025.htm>.
2. Гачева А. «Нам не дано предугадать, Как слово наше отзовётся...» // Достоевский и Тютчев. – М., 2004.
3. Гоголь Н.В. Собр. соч.: в 6 т. – Т. 5. – М., 1959.
4. Гончаров И.А. Собр. соч.: в 6 т. – Т. 6. – М., 1972.
5. Короленко В.Г. Собр. соч.: в 10 т. – Т. 8. – М., 1955.
6. Крылов И.А. Басни. – М., 2004.
7. Мережковский Д.С. Полн. собр. соч.: в 24 т. – Т. 10. – М., 1914.
8. Некрасов Н.А. Полн. собр. соч. и писем: в 15 т. – Т. 4. – Л., 1982.
9. Пушкин А.С. Собр. соч.: в 10 т. – Т. 3. – М., 1963.
10. Толстой Л.Н. Собр. соч.: в 22 т. – М., 1978–1985.
11. Успенский Г.И. Собр. соч.: в 9 т. – Т. 5. – М., 1956.
12. Флоровский Г.В. Восточные Отцы V–VIII веков. – М., 1992.
13. Хомяков А.С. О старом и новом. – М., 1988.